

*Глава из незаконченного романа «Жизнь» - продолжения трилогии  
«Семигорье» - «Годины» - «Идеалист»*

---



Через много лет, после смерти отца, примирившись уже с его отсутствием в жизни, Алексей Иванович, живущий в постоянной занятости, в раздумьях, в работе, сидя поздним вечером за столом уже в умственной и физической усталости, потянулся к папке, лежащей на нижней полке, аккуратно и крепко перевязанной еще рукой отца. Движением ладони сдвинул пыль с обтрепанных темно-коричневых корочек, с тесненной, когда-то золотой, теперь едва желтеющей буквами надписи «Дипломная работа», стал развязывать и снимать витые из оберточной бумаги веревочки. Пальцы почему-то дрожали, сердце учащенно билось от пробивающейся из сознания вдруг ожившей вины.

Папка была с бумагами отца, перешла к нему после его смерти вместе с тремя книгами, которые до конца жизни держал он на опустевшей полке над своей кроватью. Папка, однотомник К. Паустовского, «Мертвые души» Гоголя еще довоенного издания, и работа Сталина "Диалектический материализм", с которой что-то связано было в его жизни, составляло все отцовское наследство, которое передано было ему женщиной, ухаживающей за отцом, последние пять лет. Прежде порядочно было у него книг и кое-какие личные и семейные вещи. Но в последние годы, когда ясно сознал он неизбежный конец своей жизни, он отдал книги в ближайшую библиотеку, оставив себе только вот эти три, а еще одну - роман, написанный им, его сыном, который под соответствующее настроение перечитывал, сняв очки, близко приблизив к лицу страницы. Порой опускал книгу на колени, закрывал пальцами лицо, уходил в долгие раздумья.

Как ни готовил он себя к уходу, ощущение жизни, и прошлой и настоящей, жило в его ясной памяти, в его чувствах, и как бы ни раздражала его порой людская суетность, попадавшая в круг его житейского внимания, как бы ни сдавливали его порой обиды, невнимание незнакомых, а то и тех уже немногих, окружающих его людей, как ни тоскливо было вникать в угнетающее движение своей, он знал, неизлечимой болезни, все равно хотелось ему, как можно дольше видеть по утрам отблеск солнца в комнате, слушать все усиливающийся гул улицы за домами, греть руки о стакан, отхлебывая горячий крепкий чай вприкуску с наколотым прессованным сахаром или вязким черносмородиновым вареньем, варить которое женщина, ухаживающая за ним, была большой мастерицей.

При нечастых встречах с отцом Алексей Иванович улавливал его тоску от сознаваемого им приближающегося небытия. Но как обычно бывает у постели больного, бодрился, делал вид, что не замечает ни исхудавшего его лица, ни проступившей костистости рук, лежащих поверх одеяла, ни как будто застылого взгляда близоруких глаз, и теперь не потерявших былой голубизны. Да и сам отец не заговаривал о своей болезни, собирал на короткое время остаток сил, оживлялся, даже пробуждал в себе интерес к его, Алексея Ивановича делам.

Алексей Иванович понимая, что его мирские дела вряд ли теперь важны для отца, как это бывало прежде, рассказывал, хотя без обычной увлеченности, и умолкал, уловив усталую отстраненность в полу прикрытых отцовских глазах. Оба какое-то время пребывали в молчании: отец - в своем сумеречном остановившемся мире, он - в мыслях о многих делах ждущих его, нужных, необходимых, не могущих, как казалось ему, разрешиться без его вмешательства.

В нарастающем нетерпении, с вздохом он произносил:

- Пап, ну я пойду! - и, поймав повинным взглядом, медленный разрешающий наклон его головы, уходил с чувствуемым облегчением. Он и сейчас помнил это постыдное чувство облегчения, казалось бы, естественного, когда полная энергия жизнь человека соприкасается с ослабевшей, беспомощной, уходящей в небытие другой человеческой жизнью...

И только теперь начал сознавать, что жизнь уходящего в небытие отца, была и его жизнью. Он не появился бы на земле, если бы не отец. Наверное, не стал бы тем, чем стал в своем больше чем полувековом бытии. Вряд ли утвердился бы в жизни без трудов, забот отца, которые питали его в детстве, в юности, вряд ли дожил бы до нынешних своих лет, если бы не отец, примчавшийся к нему за тысячу верст, когда от тяжких фронтовых ран он сам уже переходил за черту жизни.

Алексей Иванович почувствовал, как запылало лицо в запоздалом раскаянье за былую свою отстраненность от отцовских страданий.

"Вот так, потянешь ниточку из прошлого, - думал Алексей Иванович. И тяжко придавит оно твое настоящее".

Осторожно, с чувствуемым замиранием сердца, раскрыл он папку. Сверху лежала обычная толстая общая тетрадь. На серенькой обложке посередине четким крупным почерком отца обозначено: "Думы". "Думы" подчеркнуто, отец, видимо, придавал этому слову особый, значимый смысл.

С той же осторожностью открыл первую страницу, первая запись - четыре строки из Беранже:

"Если б только земли нашей путь  
Осветить наше солнце забыло,  
Завтра ж целый бы мир осветила  
Мысль безумца какого-нибудь".

Алексей Иванович еще, еще раз перечитал строки, которых не знал. Поразился сравнению: мысль - подобна солнцу, она, мысль способна осветить мир! Отец всегда ценил мысль, прозревающую смысл всего сущего. Видимо по душе было ему возвеличивание её.

Страницу за страницей переворачивал Алексей Иванович, вчитывался в записи отца и все отчетливее начинал понимать, что отец и в старческой своей не успокоенности продолжал искать ответы на вечные вопросы бытия. Избрал он свой, оригинальный путь раздумий: выписывал мысли людей разных эпох, высказанные ими при жизни, и расставлял некими мерцающими огоньками, по долгой, неясно проглядываемой истории человечества. Были это отдельные, разные мысли, чем-то созвучные собственным его раздумьям. Но за ними все с большей определенностью, как все учащающийся стук встревоженного сердца, ощущалось не спадающее беспокойство за человека и его будущее.

Алексей Иванович дочитал до последней страницы и вдруг притаил дыхание, увидев на внутренней стороне серой тетрадной обложки четкую завершающую запись: "Сыну. Для раздумий".

"Вот оно что!" - подумал Алексей Иванович, в каком-то даже смятении. - Отец не просто искал, выписывал мысли умов великих. Выписывал, думая о нем, своем сыне, надеясь, что и своими раздумьями он сможет помочь ответить на вопросы, которые мыслящие особи человечества ставили перед собой и будущими потомками, не всегда с определенностью на них отвечая!..

Какое-то время Алексей Иванович сидел в неподвижности, утишая смятение ума. Потом бережно, будто нащупывая смысловую нить, снова открыл первую страницу, медленно перечитал строки из Беранже, так же медленно, вдумываясь, начал перечитывать запасы.

"Разве знакомое, привычное способно зажечь огонь в сердце ищущего? Ведь там, где все определено, все известно - там нечего искать... Обычное - враг научного прогресса. В физике давно уже пользуются тремя формами истинности: правда, ложь, неопределённость". Рукой отца помечено: мысль В. Келлера.

"Вдохновляющий старт к раздумьям, - подумал Алексей Иванович. Из обыденности к озарившим ум открытиям при трех формах истинности: правда, ложь, неопределенность! И все три категории истинности, как бы в одном узле!"

Вот отец выписывает подряд, всегда занимавшие его мысли о человеке: "И.П.Павлов: "Человек - высший продукт земной природы. Человек - сложнейшая и тончайшая система. Но чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным, умным".

"Должен! Но всегда ли он таков? И каждый ли способен направить усилия разума на совершенствование себя?..", - думал Алексей Иванович.

Вот совершенно другое понимание того же человека:

"Человек в таком виде, в каком он появился на земле, существо ненормальное, больное...". Это утверждает Мечников, великий физиолог!

Еще более резок Лафарг:

"Человек - самое жесткое и лицемерное существо из всех животных".

Вторит ему из нашего времени академик Н.Н. Моисеев: "Человек отнюдь не идеальное создание по образу и подобию божьему. В нем много мерзостей. Это и агрессивность, унаследованная от его далеких предков, и трусость, и алчность, и вероломство, и страсть к стяжательству, и лживость, и многое-многое другое. Подчас становится страшно, когда осознаешь, что именно для существ, обремененными этими пороками, мы строим социализм..."

И тут же все озаряющая иным светом, мысль Сократа: "Есть много огромного в мире, но большее всего человек". - Алексей Иванович в изумлении замер над листком тетради: как две тысячи лет тому назад этот мудрец сумел предсказать беспредельность духовного мира человека?!

"Так, где же истина? - думал Алексей Иванович, - и почему отец собрал вместе эти взаимоисключающие утверждения? Увидел в каждой частице истины? И не нашел возможным склониться ни к одному из них? Может, все-таки, ближе к истине прозорливый Лев Толстой, чью мысль тут же, следом, записывает отец: "Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным, слабым, а человек есть всё: все возможности, есть текущее вещество..."

Послушная намоть вернула Алексея Ивановича к одному из отцовских откровений. Было это у реки, где сидели они с удочками, в редкий для отца час отдохновения.

Предзакатная тишина, слабое журчание текучей воды, бесклёвье - поплавки ни разу даже не качнулись. Отец перебрался ближе к нему, присел, поживаясь, потирая плечи, хотя на воле была теплынь, сказал задумчиво:

- Какое все-таки несовершенное существо - человек! Ты не задумывался? Посмотри в прошлое: история наша необъяснима, пестра, как сам человек. Тысячелетиями карабкается человечество к так называемой цивилизации. А суть усилий во все века одна: человек предстает существом, что-то добывающим, что-то созидающим, что-то бездумно разрушающим. То он объединяет себе подобных, то враждует с ними. Рождает идеи, озаряющие мир, и тут же все испепеляет оружием, его же умом созданным! Естествоиспытателями человек отнесен к высшему разряду, из всего живого, обозначен, как Человек Разумный. Но где его разум? Только лишь в идеях справедливости? Но всякая идея, тем более идея справедливого устройства человеческих сообществ, требует неспадаемых созидательных усилий и абсолютной честности каждого?!

Почему эта, казалось бы, ясная поведенческая мысль до сих пор не может овладеть человечеством?.. - Он так и сказал: "поведенческая мысль". В памяти отложилось это давнее неожиданное откровение отца. Но тогда собственный молодой его разум был настроен на другие житейские проблемы, не готов был откликнуться на беспокойные отцовские раздумья. Теперь отец возвращал его, уже умудренного жизнью, все к той же не разрешенной загадке человека.

Горестно, с некоторой долей ироничности, Алексей Иванович усмехнулся: похоже, отец надеялся, что он, его сын, сумеет то, что не сумел он сам за долгую и деятельную свою жизнь?..

На одной из страниц увидел Алексей Иванович выписанную отцом четкую мысль Сталина: "Все зависит от условий, места, времени..." Это безоговорочное утверждение Сталина он знал, еще в пытливой юности вписал в свой дневник. Но как ни высок был для него авторитет вождя сформировавшего это философское положение, он дерзнул уточнить его своим пониманием. К словам "все зависит от условий, места, времени", он дописал: "И от человека".

По какому-то неясному побуждению, он показал дневниковую запись отцу. Отец прочитал. Снял очки, сидел в раздумье, сдавив пальцами переносье, как всегда делал в случаях затруднительных. Спросил:

- И как ты это понимаешь?

И он со всей пылкостью юности стал отстаивать свою веру.

- А вот так, - говорил он, горячась, - человек всегда должен оставаться самим собой. При любых условиях, на любом месте, и при любом времени!..

- Оставаться самим собой - это хорошо, - сказал отец. – Но случись, к примеру, война? Изменяется обстоятельство. И судьба человека неизбежно будет зависеть от места и времени?!

- Нет, нет, пап! - все с той же горячностью возразил он. - Еще раз нет! Ты знаешь песню про "Варяга"? Японская эскадра заперла русский крейсер в бухте и предложила сдаться. Команда подняла флаг, вышла навстречу десяткам кораблей. Вступила в бой, и погибла в бою вместе со своим "Варягом". Условия были? - плен. Было и место - укрытая бухта. И время - русско-японская война. А человек - вся команда! - предпочли бой и смерть. И это тогда, когда условия, место и время диктовали им плен!..

Отец молчал, закрыв глаза, сдавив, казалось, до боли переносицу. Наконец, сказал хрипло, как будто через силу:

- Наверное, ты прав...

Из нынешнего времени Алексей Иванович мог представить, какая буря пронеслась тогда в мыслях отца, предчувствовавшего близкую войну и проглянувшего, быть может, в тот час его судьбу, трагическую судьбу своего сына. И если, пройдя сквозь адовы муки души и тела, он все-таки возвратился, ни в чем, не изменив себе, то, как понимал он теперь, потому только, что тогда, в юности, с ним рядом был отец.

"Так как же быть с "текучестью" человека, которую так прозорливо проглядывал Толстой? Согласиться и примириться, как с неизбежностью? - думал Алексей Иванович. - Но жизнь обнаруживает и другое. Тот же "Варяг", который питал мою юношескую веру. Джордано Бруно, взошедший на костер за свои убеждения. И генерал Карбышев, убеждения которого, не поколебали ни изуверства фашистских лагерей, ни сама мученическая смерть? Значит, есть, существует нечто, возвышающее человека над природной сущностью всего живого принужденного приспособливаться и к летнему зною и к зимним холодам?

Человек "текуч", пока живет без убеждений, - думал Алексей Иванович. - Когда же убеждения устанавливаются, останавливается и его "текучесть". Человек обретает упорство оставаться самим собой в любых обстоятельствах. Человек мыслящий, человек убежденный, может выстаивать в своих убеждениях, как выстаивает прибрежная скала под ударами бьющих волн океана!

Отец виделся ему из нынешнего времени именно таким. Всегда он был чужд житейской суетности, и никогда не приспособливался применительно к подлости. Либо изменял, в пределах своих возможностей, неподобающие условия бытия, либо, не колеблясь, оставлял самые завидные, с точки зрения житейского благополучия должности, если обстоятельства вступали в противоречия его убеждениям. Человеческая "текучесть", в одних случаях вызывала в нем сострадание, в других, явное и жесткое неприятие.

Алексей Иванович перелистнул несколько страниц, выискивая редкие в этой тетради раздумья самого отца и чувствуя, как напряглось тело в ожидании очередной важной мысли, стал вчитываться в отцовскую запись:

"Прочитал, да еще на ночь, выдержки из дневника Доддса, американского посла в Германии, во времена довоенные, когда команда Гитлера уже обрела власть над немецкой нацией. Прочитал, и сумеречно стало в мыслях, проворочался в раздумьях ночь.

Если уж тогда, в конце 30-х, этот классический американец ужаснулся разгулу немецкого фашизма и по-человечески встревожился тем, что на святой его родине, в США, немало преуспевающих людей ратуют за установление такого же фашистского строя, то можно ли оставаться спокойным теперь, когда ракеты и атомные устройства оказались во власти тех, кто вновь забредил возможностью мирового господства?

Как все-таки по-детски забывчивы люди! Да, все возликовали, все, увидев, как стойкостью российских ветров развеяны были зловещие тучи гитлеровского нашествия.

Не хотелось и думать, что в небытие они ушли. Между тем, те же зловещие тучи, как и предвидели мыслящие люди, вновь сгрудились на другом конце земли. И проглянувший на какое-то время из чистого неба солнечный луч, отнюдь не мог быть поводом к успокоению.

Слишком многие из живущих на земле ироничны, хуже - беспечны к прозорливости мыслящих людей. Тогда как очень многое, что мыслится, потом совершается в действительности, и зачастую с большей трагичностью, чем думалось. Такое и произошло с немецким фашизмом.

Когда Гитлер заявил: «Я освобождаю людей от отягчающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью», в пору было посмеяться над напыщенностью философствующего национала, отменившего Разум. Когда же философия обернулась действительностью, когда запылали города, задымилась трубы Освенцима, когда земля охнула от миллионов могил, было уже не до смеха. И тот, кто выдает индульгенцию от отягчающих ограничений разума, тот замахивается на самого человека. И беспечность в этом главном вопросе бытия равносильна общей гибели человечества. Или, что, в общем-то, то же самое, насильственный возврат человека в звериное состояние".

Тревожась за будущее человека, отец наверняка помнил кадры трофейной немецкой кинохроники, обнародованные в самом конце войны, - завершающий этап так называемых опытов по превращению в животное. В тех леденящих душу кадрах русский парень, почти ещё мальчишка, с дебильным лицом и бессмысленным взглядом передвигался на четвереньках по аккуратному немецкому газону, припадал торопливо к земле, зубами рвал растущую траву, по-звериному оглядываясь, жадно поедая. Фашиствующие нелюди нашли способ низвести человека до состояния бессловесной скотины.



Отец не мог не вспомнить, не пережить заново те трагические, навечно впечатанные в его сознание выверты истории. Что было бы с отцом, если бы дожил он до нынешних времен, увидел бы распятую предательством Россию, год от года умерщвляемую жестокостью, жадностью, соперничеством, потребительством, - всей людской порочностью, брошенной к нам из так называемой Западной цивилизации?

Алексей Иванович только на минуту представил отца живым в ворохе газет, перед выпученным зрачком нынешнего телеэкрана, в котором совокупляются с наглостью, и в глазах у него потемнело от еще одной, неизбежной смерти отца.

В тяжелой задумчивости сидел Алексей Иванович, охватив голову руками. Из глубины памяти, как-то сами собой всплыли слова Рериха, мудрого Махатмы, посвятившего жизнь познанию истин: «Мы забыли, что не рука, но мысль и творит и побеждает».

"Да, да, - думал Алексей Иванович, - все, что происходит, и ещё будет происходить с людьми в мире, все исходит от разума, из мыслей человека, - все доброе, человеческое, и все злое, бесчеловечное.

Человек и его человечность - есть мера всему!

В раздумье он потянулся к все еще раскрытой папке, где лежала стопка исписанных листков. Листки оказались письмами однокашников отца по Кронштадтской гимназии. Из них трое не только сохранили полувековую дружбу, но и скрепили ее еще и родственными связями: женились на сестрах отца. И в жизни даже очень преуспели, утвердившись на должностных верхах: один - генералом в военной Академии, другой - полковник медицинской службы, третий - в лесной науке, где за труды в разработке поточного метода заготовки древесины удостоился даже Сталинской премии. Отец среди них выглядел не то чтобы неудачником, но уж точно скромником. Время от времени все они навещали отца, - все-таки они приезжали к нему, а не он к ним! Являлись всегда с богатыми дарами, неизменным коньячком, разговорами, весельем, не упускали случая с дружеской прямоотой упрекнуть отца за упускаемые им возможности сделать достойную карьеру. Отец хмурился, досадовал, отвлекая от неприятного ему разговора, поднимал рюмку, не пригубляя (горячительные напитки он на дух не переносил), начинал напевать высоким голосом:

«Любо, братцы, любо,  
С лесом в дружбе жить,  
Скромному Ивану не приходится тужить...»

Жалельщики только головами качали: Эх, Иван, Иван...

И вот как странно распорядилась жизнь: все други его жившие в довольстве и благополучии, и жены их - его сестры, - никто не дотянул и до семидесяти годов, а отец в своей житейской неустроенности, все жил, работал, мыслил!..

«Да, кому ведомо, - думал Алексей Иванович, - с какой стороны подбирается к человеку его смертушка? То ли в мозг ударит инсультом, то ли инфарктом остановит сердце, то ли, как во времена нынешние, иномарка с опьяневшим от вседозволенности новорусским собьет тебя на тротуаре, то ли киллер с совестью залепленной долларами, всадит тебе в затылок оплаченную пулю?

Отца смертушка долго обходила, видно, уважала скромность его жизни, жизни не для себя. А все равно достала!..»

В невеселых раздумьях перебирал Алексей Иванович письма, сохраненные отцом. И обнаружил несколько усохших от времени листков, исписанных все тем же бегущим твердым почерком отца. Похоже, отец все же решил оправдаться перед упрекающими его друзьями за свою, как будто бы не сложившуюся, жизнь, и Алексей Иванович, расправив листки, притаив дыхание, стал читать: «Может быть, в одном вы правы: не покладист я для карьеры. Характер колючий. В суждениях самостоятелен. В делах - тоже. Энергии, задора, сделать что-то для общего блага - через край. А кто-то над тобой поставленный, тебя, как норовистого коня, с широкой дороги в загон. Тпру, милый! Не рвись вперед! Поостынь, малость, пока подберем тебе новый воз да по шее хомут!..

Примерно так мог бы обозначить то, что частенько определяло мою жизнь. Горько? Горько, вроде бы. Покруче мог проявить себя. А теперь вот думаю: что значит покруче? Быть на виду, на должностной высоте? Ворочать миллионами государственных денег да судьбами тех же чиновных людей? И оттуда, с высоты, обозревать идущую вдали от тебя жизнь, и верить, что это ты, своей властью движешь жизнью!

Мог бы, други мои, мог бы всего достигнуть. Таких ли высот снизу завидных! Зрил все ступени, идущие вверх и знал, что надо сделать, чтобы шагнуть на следующую. Знал, а не вшагивал. Нужды не видел карабкаться к должностному благополучию! По характеру моему надобно мне живое дело. Каждодневно должен ощущать материал, который усилиями моих знаний, моей энергией, превращался бы в полезную для общества реальность. Лес стал для меня такой реальностью. В годы для страны трудные, вместе с людьми, меня окружающими, превращал лес в дома и топливо, в лыжи для армии и шпалы для железных дорог, и ружейные болванки, и фанеру для самолетов. Потом учил тому же, что делал сам, деревенских парней в лесном техникуме. Потом, как известно, взращивал леса в лесхозах. Потом берег изрядно уже потрепанную российскую природу на заповедных территориях. Работа вроде бы неприметная, а необходимая, как землю пахать. И удовлетворение было, порой даже радость была. А вы в один голос: не сложил ты судьбу, Иван!

Убежден, в стремлении к высоким должностям, к житейскому благополучию, есть не всегда чистая подоплека, - подоплека расчетов, страстей, изворотливости, унижений. Человеку же надлежит всегда помнить о человеческом своем назначении: делами своими создавать справедливые человеческие условия жизни для всех. Подчеркиваю: для всех, не для себя только! Для моего разума это ясно, как день..."

Письмо не было закончено, не было отправлено. Но как проглянул отец в этой неожиданной щемящей душу исповеди!

Алексей Иванович со все усиливающимся тягостным чувством вины за бывшее равнодушие к отцовским делам и мыслям вложил в папку письмо, потянулся по еще неясному побуждению к нижней полке, где лежал альбом с семейными фотографиями, переданный ему отцом к шестидесятилетию. На альбоме была все та же надпись: "Сыну".

И в этом проглянуло трогательное старание отца о том, чтобы в памяти сына сохранилась память о нем!

Все в той же не успокоенности проглядывал Алексей Иванович фотографии, приклеенные к плотным картонным листам. Расположены они были по годам, от отрочества до дней, когда отец еще не был сломлен болезнью.

Прошрое возрождалось в знакомых лицах, когда-то сопровождавших отца в его жизни. Фотографии зримо подтверждали, что отец никогда не смирялся первозданными условиями бытия, в которые попадал по долгу службы. Не медля, начинал все изменять. И люди под напором властной его энергии брались за пилы, топоры, освобождали в таежной глухомани площадки, ставили дома, прокладывали лесовозные дороги к рекам, плотами сплавляли древесину туда, где в ней была нужда. И вот она, бывлая глухомань, в фотографиях: дома в рядок, школа, библиотека, клуб, хотя примитивный, но стадиончик, электропровода на столбах. И люди тесно стоят вокруг отца с просветленными лицами!..

Взгляд Алексея Ивановича остановился на фотографии отвесных Карадагских скал с застывшей у подножья пенной черноморской волной. И хотя на фотографии отца не было, в груди заныло щемящей неостановимой болью. Он даже подумал, что фотографию Карадагских скал отец поместил в альбом, предназначенный ему, его сыну, не без умысла: нравственная боль, которую в тот год причинил он отцу, наверное, жила в нем невысказанное до конца его дней.

Алексей Иванович почувствовал жар стыда на своем лице, попробовал охладить щеки тыльной стороной ладоней. Жар не проходил, и все, что было тогда на этом каменистом клочке Крымской земли, стало разворачиваться перед мысленным взором с пронзительной, как всегда, отчетливостью.

Было это в первый год после окончания войны. У него на остатках ног, в швах, открылись раны. Он стягивал их пластырем, чтобы хоть как-то надеть протезы, но швы не заживали, раны гноились. Врачи сказали: помочь может только море, южное море. И отец решил: оставил систему, в которой долго и успешно работал, списался, принял предложение директора Карадагской биостанции поработать у него в должности заместителя. Так оказались они у моря. Морская вода и крымское солнце оздоровили, стянули раны на ногах. Но образовались раны другие, раны в душе отца, оздоровить которые невозможно было ни морем, ни солнцем. И раны эти нанес отцу он, его сын. Помнил, помнил Алексей Иванович то партийное собрание, на котором отец со свойственной ему горячностью и прямоотой выступил против самого директора.

Не мог смириться с научной непродуктивностью станции, с небрежностью, непродуманностью в ее руководстве, с непорядочностью самовластного директора, которого заподозрил в своекорыстии. Как всегда, столкнувшись с подлостью, отец упал грудью на амбразуру, надеясь, что он, его сын, поддержит его в этом самоотверженном поступке.

В партийной организации было пятеро: четыре сотрудника, и пятым он, Алексей Иванович, вернувшийся с фронта коммунистом. Один из сотрудников поддержал отца, другой поддержал директора. В наступившей напряженной тишине все ждали, что скажет он, Алексей Иванович. И он, сын, проголосовал против отца!..

Что понимал он тогда в путанице служебных взаимоотношений, он, прошедший через пекло войны и оставшийся тем же мальчиком-идеалистом, каким ушел из дома?! Его верой была некая высшая справедливость, и утверждение этой некоей высшей справедливости он считал жизненным своим долгом. Всегда, во всем, несмотря ни на что! Таким он вырос рядом с отцом, таким был и теперь, тоже рядом с отцом. Ради этой высшей справедливости он выступил против неубедительной, как показалось ему, позиции отца. Знал бы он тогда, что справедливость и невежество несовместимы. В сущности, он ничего не знал о положении на станции, слышал лишь то, что говорили противники и защитники руководства. Своим неведением (как оказалось потом, отец был прав!), он дал возможность ничтожному увертливому руководителю восторжествовать!

Алексей Иванович понял это потом, когда отцу пришлось покинуть биостанцию. Но тогда, когда вернулись они с собрания домой, он как будто заледенел в сознании справедливости совершенного поступка и, удаляясь в свою комнатку, даже не откликнулся на слова уязвленного отца, сказанные все сразу понявшей и тоже не вставшей на сторону сына Елена Васильевна:

- Воспитали сокровище!..

Тогда он не впустил в себя эти страшные слова отца, потрясенного его предательством. Но сейчас память вернула их, и памятные слова обожгли сознание. Сдавило сердце, снова запылало лицо неуходящим раскаяньем.

Долго сидел Алексей Иванович в неподвижности, рассеянно теребя угол отцовской тетради, стараясь избыть нравственную боль.

И вот что особенно непереносимо было сознавать: в последующие годы отец ни разу не напомнил ему о его поступке, не изменил своего отцовского заботливого внимания к его, Алексея Ивановича, жизни. Даже в записях своих ему адресованных, ни словом не упомянул о том. Но, как понимал он теперь, нравственная рана, тщательно им скрываемая, так и не затянулась в душе отца.

"О, если б можно было вернуть время к тому дню, но с умудренностью уже нынешней! - думал Алексей Иванович, сжимая себя руками, скорбно покачивая головой. - Если бы... Природа позаботилась о человеческой памяти, предоставила человеку возможность мысленно возвращаться к любому из прожитых дней. Но вернуть себя в прожитое, чтобы что-то поправить, доделать, никому из живых не дано. Не дано никому писать черновик своей жизни, жизнь каждого пишется только набело. И если когда-то ты поступил недостойно, остаются при тебе только память и угрызения совести. Разумеется, если она у тебя есть..."

Вспоминал Алексей Иванович то одно, то другое. Вспоминалось почему-то все доброе, мимо которого в то время он проходил, считая внимание и ненавязчивую заботу отца чем-то само собой разумеющимся.

Вспомнилось, как в один из дней под новый год отец и мама навестили их, как всегда с некоторой долей стеснительности. Подобные посещения бывали не часто. И отец, и мама старались не отягощать невольным своим вмешательством и без того усложненную семейную и деловую жизнь сына.

Зойченька в тот день гостей ждала, настроена была приветливо, и когда после праздничного чая сидели, разговаривали о делах личных, городских, общегосударственных, она, увлеченная своей новой идеей исследования людских умонастроений, предложила ответить на вопросы анкеты, составленной по историческим образцам. Все согласились, - ответили письменно, ответ каждого зачитали вслух. Ничего необычного вроде бы не было в этом очередном умном развлечении. Но уже тогда Алексею Ивановичу услышалось нечто важное в этих, как будто шутливых ответах, он их собрал, сложил в одну из многочисленных своих папок. И теперь в непонятной суеде стал искать и нашел.

Вот она, анкета отца. Ответы, как всегда прописаны четким твердым почерком, с некоторым даже нажимом - свидетельство категоричности суждений.

Алексей Иванович начал вчитываться в исповедальные ответы. Вот первый вопрос: Ваша отличительная черта? Отец отвечает: ожидание.

Алексей Иванович задумался. Отец всегда был человеком дела, живого, неостановимого. И вдруг - ожидание! Что ожидал отец? Семейного взаимопонимания? Более масштабного места работы, где мог бы развернуться в полную силу? Может, признания своих заслуг? Или душевной близости с ним, с сыном, всегда стеснительно замкнутым, возможно, от излишней суровости самого отца? Может быть, ожидание его было далеко не личным? Постоянно его тревожило будущее человечества, самого человека.

Разгадаешь ли теперь загаданную отцом загадку?

На вопрос: Достоинство в человеке? - Отец отвечает жизнелюбие. Самый большой недостаток? - Невежество.

У Алексея Ивановича ёкнуло сердце о еще неостывшем воспоминании, о Карадаге.

Да, ничто так не огорчало отца, как невежество, особенно невежество должностных людей. Не раз он говорил: "Невежество в должности, обретая право давать указания всем, кто служебно ему подвластен, одним этим губит множество умных дел. Особенно тревожило его глобальное политическое невежество, вскоре обернувшееся кровавыми трагедиями второй мировой войны.

Долго думал Алексей Иванович, почему самым близким для себя поэтом отец обозначил Лермонтова? Насколько помнилось, он часто и к месту цитировал Пушкина, Толстого Алексея Константиновича, Хайяма, Руставели, а указал, все-таки, Лермонтова. Может быть, ближе к душевному его состоянию оказалось Лермонтовское одиночество? Наверное, так. При всей своей деятельной общественной жизни в отце таилось ощущение одиночества, особенно в последние годы, когда умерла мама. В последние годы его жизни, он замечал повлажневшие глаза отца, когда, склонив голову, охватив лоб ладонями, слушал он часто в то время звучащую по радио арию мистера Икса, в исполнении Георга Отса. Весь он сжимался, плечи вздрагивали, когда Отс, поднимая голос до трагической ноты, выговаривал:

"Устал я греться у чужого огня,  
Но где же сердце, что согреет меня..."

Алексей Иванович не мог не видеть давящую отца тоску одиночества. Но сам жил он в те годы иным состоянием души, жил в удовлетворенности делами, житейскими радостями, не расположен был вникать в суть отцовских переживаний. Удобнее было объяснять проступающие слезы отца лишь чувственным воздействием искусства! И вот теперь, когда он почти достиг возраста, в котором тогда отец был, прорвалась в сознание вся трагичность душевного его одиночества. Прикинув к молчаливым листкам, переданным ему в наследство, сознал он всю жестокость тогдашней своей глухоты!

"Вот они, возрастные гримасы жизни, - думал Алексей Иванович, чувствуя, как сжимается все тем же запоздалым раскаяньем сердце. - Когда молоды, когда в силе, как легко отстраняемся мы от, казалось бы, не такого уж тягостного человеческого долга - согревать по возможности одинокие души постаревших отцов! И только когда время передвигает тебя на место отца, в последнее десятилетие собственной твоей жизни, проникаешься, увы, уже непоправимыми его страданиями, и сам начинаешь страдать от глухоты и слепоты тех, кто сейчас молод!"

Склонясь над столом, с тоской невозвратности прошлого, перебирал Алексей Иванович листки бумаг.

Взгляд его снова остановился на помятом листе давней анкеты. Увидел вопрос: Ваше любимое занятие? И тут же категоричный ответ отца: "Мыслить". Да, в этом ответе весь отец! Ум его не знал покоя. Мыслью охватывал он все: от бытовых мелочей, семейных и служебных взаимоотношений до мировых экономических потрясений, судеб американских индейцев, пугающих демографических прогнозов, опасной хрупкости озонового слоя. И более всего тревожился от неразумной деятельности самого человека.

Здесь собственные его мысли были в полном созвучии, с беспокойными мыслями отца.

Алексей Иванович сам не раз обращался к раздумьям тех, кто прозорливо проглядывал возможные причины будущих земных катастроф. Порылся в своих папках, памятьливо извлек нужное. Да, вот-вот, это один из его любимцев, скромнейший и великий мечтатель из Калуги Циолковский:



"Представьте себе, что мы бы вдруг научились вещество полностью превращать в энергию, т.е. воплотили бы преждевременно формулу Эйнштейна в действительность. Ну, тогда, при человеческой морали, пиши, пропало, не сносить людям головы.

Земля превратилась бы в ад крошечный: уж люди показали бы свою голубиную умонастроенность - камня на камне бы не осталось, не то, что людей. Человечество было бы уничтожено! Помните, мы как-то говорили с вами о конце света. Он близок, если не восторжествует ум!.."

"Если не восторжествует ум! - повторил про себя Алексей Иванович. - Сказано это было во втором десятилетии века двадцатого. В середине века первые атомные бомбы уже испепелили сотни тысяч людей. Технический прогресс рванулся в обозначившийся прорыв, в миллионы раз увеличив возможности мгновенного уничтожения всего живого. А нравственность - детище разума, - диктующая человеколюбие, все еще пребывает где-то в средневековье. И проницательный ум калужского мыслителя уловил этот опасный разрыв.

«Что же теперь? - думал Алексей Иванович в смятении, вызванном мыслями других умов. - Так и будут люди, одурманиваться зрелищами, сытятся хлебами и покорно ожидать, когда под Дамокловым мечом всеобщего уничтожения подавлен будет в человеке человек? Должна же в людских умах соскочить защелка слепого доверия к тем, кто прибрал к рукам власть над средствами человеческого уничтожения?»

Голову ломало от лихорадочной работы мозга. Алексей Иванович тер лоб, виски, стараясь хоть как-то притишить охватившее его возбуждение. Разбуженный разум искал ответа на все пережитое за эти вот часы общения с простенькой отцовской тетрадью, оставленной ему в наследство.

Теперь листал он уже свои записи, свидетельства своих раздумий. Чувствовал, что где-то близко была истина, могущая успокоить разгоряченный ум, дать хотя бы нить надежды, протянутую из будущего.

"Да, да, была же она, эта ниточка, - говорил сам себе Алексей Иванович, вспоминая и выискивая в записях тому подтверждение. - Вот они, мысли людей, устремленные в будущее. Ленин пришел к убеждению, что "сознание не только отражает действительность, но и творит её". Он же утверждал: "Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его".

Вторит ему психолог Рубинштейн:

«Для того чтобы преобразовать действительность на практике, нужно уметь преобразовать ее мысленно! Все здесь ясно, как день: невозможно построить дом, если прежде мысленно не увидеть то, что задумал построить!»

А вот и Достоевский: "Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего никогда не может получиться никакой хорошей действительности".

Разные умы, а равно прозревают, равно утверждают разум человека, как силу, способную изменить не устраивающий человека мир.

- Да, все так, - думал Алексей Иванович с возрастающим возбуждением. - Но и разум разуму - рознь! Есть немало людей, может быть их даже очень много, у кого ум не созвучен с нравственностью. Руководствуются эти люди понятиями тех времен, когда в джунглях, с копьями, ружьями, а потом и с пушками, в соперничестве друг с другом, выискивалась добыча и первобытные утехы. Разум таких людей холоден, рассудочен, ищет одних лишь выгод, и только для себя.

И живут эти обладатели алчных умов рядом, действуют нагло, широко, во всем обжитом пространстве земли.

Что может противостоять этим расплодившимся хищникам жизни? Только человек, возросший на разуме нравственном, озабоченный общим человеческим будущим человечества. Только он, Человек!..

Алексей Иванович вспомнил, когда-то он выписал важную мысль, которая в свое время открыла ему пространную нишу для собственных раздумий. Достал нужную тетрадь. Раскрыл. Вот она, мысль из эпохи как будто далекого Ренессанса, но как приложима она к нынешнему, хаотичному состоянию человека!

Джомани Пико Дела Мирандола из "Речи о достоинстве человека", где он, как бы воспроизводит слова Бога, обращенные к только что получившему жизнь Адаму:

"Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные".

Вот мысль, действительно от Бога, - думал Алексей Иванович, - "...Ты можешь возвыситься до человека божественного. И не по воле, проявленной свыше, человеком божественным ты можешь стать по велению своей души!.."

Алексей Иванович измученно сидел над ворохом бумаг и папок, остывая от разгоряченных чувств.

Да, отец знал, какое наследие оставить ему, своему сыну, - он и теперь из своей невозвратности направлял мыслительную работу его разума!

До ясной ясности вспомнил Алексей Иванович, как отец, уже до неузнаваемости иссушенный болезнью, не поднимавшийся уже с постели, в один из дней как будто вдруг что-то вспомнил, напрягся, пошевелил исхудавший рукой, похожей на вытянутую птичью лапу, как бы призывая его поклониться, проговорил слабым голосом:

- Помни, только мыслящий человек способен изменить что-то в жизни...  
- Помолчал, отдышался, добавил тем же слабым прерывающимся голосом: - И о том помни... Чем выше идеал... тем больше псов его облаивает. Мысль мудрого Рериха...

Отец и в затухающей своей жизни беспокоился, каким путем пойдет он, его сын, - верхним путем мудрости или нижним путем бездумной суетности.

Разбуженная память вернула Алексея Ивановича, к другому дню, когда решено было поместить уже быстро слабеющего отца в больницу. Отец и в иссушающей его болезни ясно мыслил и понимал, что этот путь в больницу для него без возврата. Собирая отца, Алексей Иванович купил ему электрическую бритву, - всю жизнь отец брился «безопаской», намыливая щеки, теперь, в больничных условиях, это было ему не по силам. Увидев новенькую бритву, отец как-то даже растерялся, глаза в удивлении расширились, удивление сменилось недоверием, и вдруг вспыхнула в его глазах надежда. Да-да, он увидел в глазах отца вспыхнувшую надежду! - Может быть, и не все еще потеряно? Он может еще вернуться, если ему приобретают вещь, рассчитанную на годы?..

В больнице надежда угасла, настроение врачей он улавливал, понимал, что дни его сочтены. И затосковал по дому.

Алексей Иванович перевез его к себе на квартиру. И когда лежал он в комнате, на свежих простынях, вне больничных тревог, в домашнем спокойствии, и Зоя, уловив его желание, быстро приготовила из черносмородинного варенья напиток, принесла в чашечке на блюдце, и отец, сделав глоток, вдруг просветлев лицом, признательно выговорил:

- Вот это то... Вот этого я хотел. - Алексей Иванович не выдержал, вышел из комнаты, чтобы отец не заметил обожженных слезами глаз, - невмоготу было видеть его дрожащие руки, благодарный заискивающий взгляд даже за такую малость проявленного внимания!

Удивительно, как ни терзала, ни изгрызала болезнь тело отца, ум его оставался ясным. И пока разум владел убывающими силами, отец с присущим ему мужеством отстаивал свою способность действовать, жить. По-прежнему прочитывал газеты, вслушивался в обзоры политических радиокomentаторов. Когда Алексей Иванович навещал его, он в каком-то суетном старании быть полезным снабжал его последними политическими новостями, своими прогнозами на развитие событий в мире. Порой, скопив в себе энергию мысли, начинал убеждать себя, что любую болезнь можно победить силой разума и воли.

Не мог забыть Алексей Иванович, как отец уже заметно изнуренный долгой болезнью, решил бросить вызов физической своей немоши.

Было это на хуторе, где Алексей Иванович жил и работал до глубокой осени, в один из теплых августовских дней. Они с Зоей собрались пройтись до леса, поискать грибов, и отец, гостивший у них уже неделю, сидевший только на терраске в невеселых раздумьях, созерцая гладь озера и даль лесов, вдруг взбодрил себя, поднялся, сказал с удивившей их твердостью:

- Хватит сидеть. Пойду с вами! - И пошел. Пошел, вскинув голову, торопливыми шагами, энергично подпираясь палочкой. Он и Зоя - шли рядом, вроде бы не замечая его усилий, ободряя обычными в таких случаях словами, стараясь усилить обретенную им радость движения. Но уже у леса, отец начал приостанавливаться, передыхал, широко расставив ноги и опираясь на палку. Под сосны шел уже полукругом, спешащими, все укорачивающимися шагами и не сел, повалился на мягкий подстил хвои, с пробивающимися проплешинами мха. Лежал на боку, жалко и в то же время радостно улыбаясь. Потом переполз, сел спиной к сосне, сказал прерывающимся голосом:

- Идите, идите... ищите грибы...

Когда, побродив по краю бора, они вернулись ко все так же сидящему под сосной отцу, он, уже отдышавшийся, умиротворенный ветровым шумом, запахами леса, памятью о прежней своей жизни, встретил их радостно-заискивающим взглядом, в котором была и старческая гордость, что вот, все-таки смог, оказался в силах, и тревога за свой обратный путь к дому.

И что-то еще: до боли знакомая бессловесная мольба к ним обоим о добром отношении между ним и Алексеем Ивановичем, между ним и Зоей, между ними самими, между всеми людьми, - мольба о согласии с лесом, небом, землей, всем неохватным великолепием мира! Все это так ясно прочиталось в его взгляде, что Алексей Иванович едва удержал себя от покаянного желания припасть к отцу с благодарностью за все, что сделал он за свою жизнь. И до невыносимости пожалел его, когда Зоя у самых его ног выкопала пять крепеньких белых грибов, и отец, совсем уж по-детски, расстроился оттого, что плохо стал видеть.

Когда шли к дому, Зоя подставила ему плечо, и придерживала бледную слабую его руку на своем плече, вела осторожно, предупредительно, и это проявленное невесткой внимание до слез растрогало отца, еще больше самого Алексея Ивановича.

«Время не дало отцу остаться в жизни, - думал Алексей Иванович, но он, отец, и сейчас рядом со своим неуступчивым стремлением впитать в свой деятельный ум хотя бы частицу из тысячелетней мудрости человечества. Он и сейчас побуждает думать и думать над вечной, еще не разгаданной мудростью жизни.

Отец отдавал все силы свои на то, чтобы создавать для людей человеческие условия жизни. А на завершающих листах тетради выписывает пророческие слова Достоевского:

"Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы".

Не в том ли увидел отец главный вопрос бытия? Что станет с человечеством, если люди отвратят себя от хлеба духовного и замкнут свою жизнь только на хлебе земном и зрелищах? Самоистребит ли себя человек, если безответным останется вопрос: для чего ему, человеку, жить? Достоевский пророчествовал - истребит.

Но разум человека и прежде, и теперь в поиске!

Один из мудрецов сказав: «Есть много огромного в мире, но большее всего человек», еще на заре цивилизации уловил беспредельность духовного мира человека. Через тысячу лет эту мысль отец выписывает в свою тетрадь. Через отца эта же мысль возбуждает мою мысль. Так, через тысячелетие вытягивается эта же цепочка поиска истины. И сколько умов ищущих, в веках прошлых и нынешних, причастно к этому бесконечному поиску!

«Так, что же в этом общем поиске выпадает на мою долю? - думал Алексей Иванович. - Не ради же забавы отец мыслями многих думающих людей будил мои мысли?

Все так. Но даже когда проясняется истина цели, знать надо и то, как её постичь? Не эту ли долгую думу оставил мне в наследство отец?!».

В глубоком раздумье сидел Алексей Иванович среди бумаг, раскрытых папок, тетрадей, фотографий из годов былых. Наконец, тяжело вздохнул, собрал свои записи, отложил альбом с фотографиями. Прежде чем закрыть отцовскую тетрадь, вынул из нее памятную анкету. В самом конце ее был ответ отца на последний вопрос: "Любимое изречение? Девиз вашей жизни?" - твердой рукой отца было написано: "Я сделал все, что мог. Пусть сделают то же другие".



Текст для публикации взят  
из посмертного сборника Владимира Григорьевича Корнилова  
«Мои невесты», Кострома, 2003.

Настоящая электронная публикация подготовлена  
Костромским областным общественным учреждением  
«Авторская Мастерская Осознанного Развития  
«САМОСОТВОРЕНИЕ»  
имени писателя В.Г.Корнилова  
<http://samosotvorenie.narod.ru>

Ответственный редактор – И.В. Корнилов

Отзывы, предложения просим направлять на e-mail:  
[samosotvorenie@gmail.com](mailto:samosotvorenie@gmail.com); [samosotvorenie@mail.ru](mailto:samosotvorenie@mail.ru)